СЕВЕРНЫЙ СФИНКС



Древние среди нас

МИСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР

Сфинкс Северный

Древние среди нас

«Автор»
2026

Северный С.

Древние среди нас / С. Северный — «Автор», 2026

Вячеслав вернулся с глубины шести километров. Там живут аталь, древняя ветвь человечества, и их Совет готовит Отлив: в день равноденствия отключить мир, чтобы править им открыто. Теперь Корнилов видит невидимые башни над городами и лица древних среди прохожих. У него семьдесят дней, чтобы сказать правду восьми миллиардам людей, и песня, которая может стать зовом для всех.

© Северный С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Настоящее лицо 6
Глава 1. Голос в зале 7
Глава 2. Тэор 12
Глава 3. Исповедь чужого разума 17
Глава 4. Доставленные 22
Глава 5. Пакт 27
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Сфинкс Северный
Древние среди нас

Роман является художественным произведением. Исторические источники, упомянутые в книге, — диалоги Платона, хроники ордена Храма, сведения об экспедициях начала прошлого века, данные океанологии и палеогенетики — существуют на самом деле; их толкование и всё, что с ними происходит на страницах романа, вымышлено. Все персонажи, учреждения, службы и организации вымышлены, любые совпадения с реальными людьми случайны.

Часть первая. Настоящее лицо

Fides data est in porta. Qui eam fregerit, ipse se in profundum dabit.
Клятва дана у ворот. Кто её нарушит, тот сам отдаст себя бездне.
Из Liber Occultus, лист 44

Глава 1. Голос в зале

Нижний Аталь. 1 января 2027 года

— Слава?

Голос был слабый, охрипший, как у человека, который долго кричал или долго молчал. Он шёл из глубины зала, из-за спин высоких бледных людей, из тени одной из двенадцати арок. И Вячеслав узнал его прежде, чем успел подумать.

Двадцать лет. Институтские коридоры. Столовая на втором этаже, где они спорили до хрипоты о новгородских посадниках. Кухня на Петроградской, где Тамара пекла пироги с рыбой. Синяя прихожая на Мойке, и бледное лицо, и «Ты можешь лишиться всего. Свободы, карьеры, жизни».

— Лёня, — сказал он.

Он шагнул вперёд, мимо Орвена, мимо оранжевого аппарата, через золотое солнце на полу. Высокие люди перед ним расступились беззвучно, как расступается вода перед носом лодки. Он шёл сквозь живой коридор из перламутровых лиц, из тёмных глаз с вертикальными зрачками, и не смотрел на них. Он смотрел туда, в арку.

Леонид стоял в проёме, держась рукой за колонну. Он был в той же одежде, в которой ушёл из санатория: свитер, куртка, брюки. Только всё это было чистым и сухим, будто его выстирали и выгладили. Волосы отросли и поседели. Лицо исхудало так, что скулы торчали под кожей. Но глаза... Глаза были странными. Широко открытыми. Светлыми. Рассеянными. Они смотрели на Вячеслава и как будто не совсем видели его. Как будто смотрели сквозь него, на что-то, что было дальше, глубже, за ним.

— Слава, — повторил Леонид. — Ты пришёл. А я думал, ты мне снишься. Здесь всё время снится. Я уже не знаю, где сон.

Вячеслав подошёл к нему вплотную. Взял за плечи. Плечи были худыми, острыми, как у подростка.

— Лёня. Это я. Я не снюсь.

Леонид смотрел на него. Медленно поднял руку. Коснулся пальцами его щеки. Пальцы были тёплыми.

— Тёплый, — сказал он. — Во сне не бывают тёплыми. — И вдруг лицо его исказилось, сморщилось, как у ребёнка, и он заплакал. Тихо, беззвучно, без всхлипов, просто слёзы потекли по щекам. — Слава, я испугался. Я всегда пугаюсь. Я тебя бросил.

— Не бросил.

— Бросил. Я уехал. А потом пошёл к воде. Они пели, и я пошёл. Я не хотел. Я хотел. Я не знаю. — Он вцепился в рукав Вячеслава. — Арсений держал меня. Он меня держал, Слава, а я рвался. И его тоже утянуло. Из-за меня.

— Я не из-за тебя, — сказал голос за спиной.

Вячеслав обернулся.

В соседней арке стоял высокий человек. Аталь. Бледный, длинноволосый, в серебристо-серой одежде, как у остальных. Но лицо у него было другим, не таким, как у тех, кто стоял вдоль стен. Усталым. Измождённым. С тёмными кругами под огромными глазами. Как у человека, который давно не спал.

— Аэрн, — сказал Орвен.

Он подошёл, пройдя через зал так же неторопливо, как ходил всегда. Остановился перед высоким. Они смотрели друг на друга долго. Потом Аэрн опустился на одно колено. Медленно. Склонив голову.

— Я не удержал его, Орвен. Я дал слово и не удержал. Я сам ушёл. Дом позвал меня, и я...

Орвен положил руку ему на голову. На мокрые тёмные волосы.

— Шестьсот лет, — сказал он тихо. — Шестьсот лет ты не слышал дома. Никто бы не удержался. Встань.

Аэрн поднялся. По его лицу, бледному, перламутровому, текли слёзы. Вячеслав смотрел на это и думал о том, что за последние десять минут увидел больше плачущих людей, чем за последние десять лет. Людей и не только.

* * *

Лариса стояла у аппарата, рядом с Аркадием Ильичом, держась за его перевязанную руку. Она не двигалась с места. Кулон Лириона на её шее светился слабым зеленовато-белым светом. Вячеслав видел её лицо: бледное, напряжённое, с широко раскрытыми глазами. Она смотрела не на Леонида и не на Орвена. Она смотрела на людей вдоль стен. На их глаза. На детей, держащихся за руки взрослых.

Песня, которую запели все разом, когда Орвен произнёс своё приветствие, всё ещё звучала. Тихо. На одной ноте. Низкой, ровной, бесконечной. Вячеслав слышал её всем телом. Но теперь, после того как Лариса вытащила его из звука там, у ворот, он слышал её иначе. Как слышат музыку, а не как тонут в ней. Он стоял на берегу и смотрел на воду. Он мог войти. Но мог и не входить.

Орвен поднял руку.

Песня смолкла. Разом. Будто её выключили.

В огромном зале стало так тихо, что слышно было, как падают капли с потолка. Сотни пар глаз смотрели на них. На Вячеслава. На Ларису. На Аркадия Ильича. На оранжевый шар посреди золотого солнца.

— Дом слышал седьмого, — сказал Орвен. Он говорил по-русски, но Вячеслав понимал, что его слышат все: так же, как Немиров рассказывал о Халлене. Каждый слышал на своём языке. — Дом открыл ворота. По клятве, данной у этих ворот девятьсот лет назад, седьмой — гость Дома. Его спутники — гости Дома. Никто не тронет их. Никто не позовёт их против воли. Никто не задержит их, если они захотят уйти. Так записано. Так будет.

Тишина. Потом из толпы вдоль стен, с левой стороны, раздался голос. Низкий, сильный, с металлом. Не напевный, как у остальных. Резкий.

— Так записано, Орвен из Рассеянных. Но не тобой.

Толпа слева расступилась. Из неё вышел аталь. Очень высокий, выше остальных, почти два с половиной метра. Широкоплечий, мощный, не тонкий, как большинство. Длинные чёрные волосы, заплетённые в одну толстую косу, перевитую серебряными нитями. Одежда тёмная, почти чёрная, с серебряными знаками на груди. Лицо резкое, суровое, с глубокими складками у рта. Глаза... У него были самые тёмные глаза из всех, кого Вячеслав здесь видел. Почти чёрные. И перламутр в их глубине вспыхивал не мягко, а остро, как блик на лезвии.

Рядом с ним, чуть позади, стоял другой. Вячеслав узнал его сразу. Мокрое тёмное одеяние. Длинные волосы. Он видел его в тумане над кормой «Курбатова», когда тот протянул руку Ханнесу Лехтинену.

Халлен.

— Кэдмар, — сказал Орвен ровно.

— Клятву давали Совет и девять храмовников, — сказал высокий. Кэдмар. — Совет давал. Не ты. Ты был только голосом. Посредником. Ты и сейчас только посредник, Орвен. Ты ушёл наверх восемьсот лет назад. Ты живёшь среди них. Ты пахнешь ими. Ты говоришь на их языке даже здесь, в Доме. Ты не вправе говорить от имени Совета.

— Я не говорю от имени Совета, — сказал Орвен. — Я говорю от имени клятвы. Клятва говорит сама.

— Клятва мертва семьсот лет.

— Тогда почему открылись ворота?

Тишина. Кэдмар смотрел на Орвена. Орвен — на Кэдмара. Вячеслав чувствовал между ними что-то, не звук, а напряжение, как перед грозой, когда воздух становится плотным и пахнет электричеством.

Потом Кэдмар перевёл взгляд на Вячеслава. Долго смотрел. Сверху вниз, с высоты двух с половиной метров. Изучающе. Без злобы. Как смотрят на интересную задачу.

— Седьмой, — сказал он. — Ты пришёл не нашим путём. Не с нашими людьми. Не с нашими словами. Это было глупо. Но смело. Дом это оценил. Я тоже.

Он чуть наклонил голову.

— Ты гость. Так записано, и я не стану спорить с записанным. Отдыхай. Ешь. Смотри. Задавай вопросы. Через двенадцать дней, по нашему счёту, Дом соберётся. Весь. Большой Сход. Ты будешь говорить. И Дом будет слушать. До тех пор у нас будет время поговорить. Ты и я. — Он чуть улыбнулся. Улыбка была узкой, без тепла. — Я расскажу тебе то, чего не расскажет Орвен. А ты решишь сам, кому верить.

Он повернулся и пошёл прочь, к арке, из которой вышел. Халлен последовал за ним. На пороге Халлен оглянулся. Посмотрел на Вячеслава. Тем же долгим, любопытным взглядом, что и с поверхности, из тумана.

Потом они ушли.

Толпа вдоль стен зашевелилась. Начала расходиться. Медленно, тихо, по одному, по двое. Кто-то оглядывался. Дети тянули шеи, чтобы ещё раз посмотреть на чужаков. Одна маленькая девочка, совсем крошечная, по человеческим меркам лет пяти, вырвала руку из руки матери и подбежала к Ларисе. Остановилась перед ней. Задрала голову. Огромные тёмные глаза, перламутровые искры в глубине. Протянула тонкую бледную руку и коснулась кулона на шее Ларисы.

Сказала что-то. Тонким, звонким, как колокольчик, голосом. На языке, которого никто не знал.

Лариса посмотрела на Вячеслава.

— Что она говорит?

— Она говорит, — сказал Орвен, подходя, — что ты пахнешь солнцем. Она никогда его не видела. Только слышала в песнях.

Мать девочки, высокая, тонкая, в зеленоватом одеянии, подбежала, подхватила дочь на руки, поклонилась Ларисе, торопливо, смущённо, совсем по-человечески, и унесла её прочь.

Лариса смотрела им вслед. По её щекам текли слёзы.

* * *

Их отвели в покои.

Так это назвал Орвен: покои. Вячеслав ожидал чего угодно — пещеры, камеры, кельи. Это была квартира. Анфилада из пяти комнат, вырезанных в камне, круглых, сводчатых, перетекающих одна в другую через низкие арки. Стены из того же чёрного гладкого камня, что и всё в Доме, но здесь они были покрыты не письменами, а узорами. Тонкими, изящными, золотыми и серебряными: волны, водоросли, рыбы, спирали, звёзды. Свет шёл из потолка, мягкий, тёплый, тот же золотисто-белый, и становился ярче, когда входишь, и тусклее, когда выходишь.

Мебель была низкой, плавной, словно выросшей из камня: ложа, покрытые чем-то мягким, серебристым, похожим на мох; столы из полупрозрачного материала, вроде толстого стекла или хрусталя; ниши в стенах с какими-то предметами, которые Вячеслав не мог опознать. В одной из комнат был бассейн. Небольшой, круглый, наполненный тёплой водой, от которой поднимался пар и пахло солью и чем-то цветочным.

— Это для вас, — сказал Орвен. — Для всех троих. И для Штерна. Здесь безопасно. Сюда никто не войдёт без вашего разрешения.

Аркадий Ильич стоял посреди первой комнаты, оглядываясь, с открытым ртом. Потом сел на ближайшее ложе. Потрогал серебристый мох рукой.

— Мягкий, — сказал он. — Как пух. — Помолчал. — Дмитрий Сергеевич. Мне нужно назад. К аппарату. Он в зале один. Если что-то сломается, если батареи сядут на холоде... Нам же потом наверх.

— Аппарату ничего не будет, — сказал Орвен. — Зал теперь сухой. Тёплый. И его стерегут.

— Кто?

— Те, кому я доверяю. Их немного, но они есть.

Аркадий Ильич посмотрел на него долгим взглядом из-под опалённых бровей.

— Я сорок лет назад, на четырёх километрах, у Курил, видел за иллюминатором человека, — сказал он. — Высокого. Бледного. Он стоял и смотрел на меня. Пять минут. Это были вы?

Орвен чуть улыбнулся.

— Нет, Аркадий Ильич. Это был не я. Но я знаю, кто это был. Хотите, я вас с ним познакомлю?

Старик открыл рот. Закрыл. Потом медленно кивнул. И отвернулся к стене. Плечи у него дрожали.

* * *

Леонид уснул почти сразу. Лёг на ложе в дальней комнате, свернулся калачиком, как ребёнок, и уснул, держа Вячеслава за руку. Вячеслав сидел рядом, пока его пальцы не разжались.

— Что с ним? — спросил он Орвена шёпотом, выйдя в соседнюю комнату.

Орвен стоял у стены, разглядывая узор: золотую рыбу, плывущую среди серебряных водорослей.

— Он в звуке, — сказал Орвен. — Шесть недель. Его не держали. Его просто впустили. Он вошёл в песню Дома и потерялся в ней. Так бывает с людьми, которые слышат, но не умеют слушать. Он не страдал. Ему было хорошо. Это самое страшное. Ему было слишком хорошо, чтобы хотеть вернуться.

— А сейчас?

— Сейчас он услышал тебя. Твой голос в зале. Знакомый. Это его вытащило наполовину. Остальное время.

— Сколько?

— Не знаю. Несколько дней. Может быть, недель. Ему нужны люди. Человеческие голоса. Простые слова. Еда. Сон. Разговоры о том, что было наверху. — Орвен повернулся к нему. — Его жена. Ты говорил с ней?

— Она передала записку.

— Прочитай ему. Когда проснётся. Это поможет больше, чем всё остальное.

Вячеслав достал из оранжевого мешка записку Тамары. Одна строчка. «Лёня. Я жду. Т.».

Он держал её в руке и думал о Тамаре, стоящей в дверях их квартиры на Петроградской. «Слава. Привези его. Хоть каким».

— Дмитрий Сергеевич, — сказал он. — Нет. Орвен. Как мне вас теперь называть?

— Как хочешь. Здесь меня зовут Орвен. Наверху — Орлов. И то, и другое — я.

— Орвен. Кэдмар сказал: двенадцать дней. Большой Сход. Я буду говорить. Что я должен сказать?

Орвен долго молчал. Смотрел на золотую рыбу на стене.

— Правду, — сказал он наконец.

— Какую?

— Ту, которую узнаешь за эти двенадцать дней. — Орвен повернулся к нему. Глаза Дома, тёмные, бездонные, с вертикальными зрачками, смотрели на него без маски. Колодцы. — Кэдмар прав в одном. Я расскажу тебе одно. Он расскажет другое. Тэор расскажет третье. Лирион,

когда придёт, четвёртое. Доставленные расскажут пятое. Ты будешь слушать всех. А потом решишь сам. Это и есть седьмой, Вячеслав. Не ключ. Не голос. Судья. Тот, кто слушает всех и говорит за тех, кто не может сказать сам.

— За кого?

— За людей, — просто сказал Орвен. — За восемь миллиардов людей наверху, которые не знают, что о них сейчас будут говорить на дне Тихого океана. И что от того, что ты скажешь, зависит, будут ли их держать дальше или отпустят. Тебе одному решать, что им сказать за них.

Вячеслав смотрел на него.

— Это слишком много для одного человека.

— Да, — согласился Орвен. — Поэтому их было трое. Трое седьмых за восемьсот лет. И все трое не смогли. Все трое ушли в звук. Потому что не выдержали.

Он подошёл к нему, положил руку ему на плечо.

— Ты не один. В этом разница. У тебя есть восьмой. — Он кивнул в сторону соседней комнаты, где Лариса сидела на краю бассейна, опустив руку в тёплую воду, и смотрела на свет в потолке. — Береги её. Здесь не только Дом может позвать. Здесь и Кэдмар может.

Он ушёл. Вячеслав остался стоять посреди круглой комнаты с золотой рыбой на стене, с запиской Тамары в руке.

Где-то далеко, за стенами, за коридорами, за кольцами города, на самой границе слуха, Дом пел. Тихо. Мирно. Как поют на ночь.

Только Вячеслав не знал, ночь ли сейчас. Здесь, на дне, не было ни ночи, ни дня. Был только свет, который становился ярче, когда входишь, и тусклее, когда выходишь.

И было двенадцать дней.

Глава 2. Тэор

Нижний Аталь. 2 января 2027 года

Вячеслав проснулся от того, что свет в потолке стал ярче.

Сначала он не понял, где он. Круглая комната. Чёрный камень. Золотые волны на стенах. Ложе из серебристого мха под ним, мягкое, тёплое, пахнущее чем-то свежим, как трава после дождя. Тишина. Не та тишина, к которой он привык в Петербурге, с далёким гулом машин, с каплями из крана на кухне, с бормотанием соседского телевизора. Другая. Полная. Глубокая. И в самой глубине её, на границе слуха, тихая, мерная песня. Будто огромное существо дышало во сне.

Потом он вспомнил. И сел так резко, что закружилась голова.

Лариса спала рядом, на соседнем ложе, свернувшись, укрывшись своей курткой, хотя в комнате было тепло. Кулон Лириона светился у неё на шее слабым зеленоватым светом. Лицо было спокойным. Впервые за много дней спокойным.

Он посмотрел на часы. Его наручные часы, механические, отцовские, которые он взял с собой в последний момент. Они показывали половину девятого. Утра? Вечера? Он не знал. Здесь это не имело значения.

В соседней комнате кто-то тихо разговаривал. Он узнал голос Аркадия Ильича. И второй, слабый, хрипловатый. Леонид.

Он встал и пошёл туда.

* * *

Они сидели у бассейна. Аркадий Ильич, в своей лётной куртке, с перевязанными руками, на краю бортика. Леонид рядом, на полу, на сером мху, обхватив колени руками. Перед ними на низком хрустальном столике стояли чаши. Тоже хрустальные, тонкие, наполненные чем-то тёмно-зелёным, густым, и рядом плоские хлебцы, серо-коричневые, на вид как сухари.

— Еду принесли, — сказал Аркадий Ильич, увидев Вячеслава. — Час назад. Двое. Высокие, молчаливые, поставили и ушли. Я попробовал. — Он поморщился. — Водоросли. Варёные. С чем-то солёным. Хлеб из чего-то. Не знаю из чего. Похоже на ржаной, только кислее. Есть можно. Но борща бы я сейчас...

Леонид поднял голову. Глаза у него сегодня были яснее, чем вчера. Не совсем. Но яснее.

— Слава, — сказал он. — Аркадий Ильич мне рассказывает про подводные лодки. Ты знал, что он в восемьдесят шестом году на четырёх километрах у Курил видел человека?

— Знал.

— А я не знал. — Леонид улыбнулся, слабо. — Я тут шесть недель, а ничего не знаю. Всё как во сне. Пел, слушал, опять пел. Не помню, ел ли. Не помню, спал ли. А сейчас Аркадий Ильич мне про лодки рассказывает, и я вдруг понимаю, что хочу есть. И что у меня борода. — Он потрогал щёку, заросшую седой щетиной. — Тома меня убьёт.

Вячеслав сел рядом с ним на мох. Достал из кармана записку. Протянул.

Леонид взял её. Развернул. Прочёл. Одну строчку.

Он долго смотрел на неё. Потом сложил. Аккуратно, вчетверо, как складывают письма, которые будут перечитывать. Положил в нагрудный карман свитера. Прижал ладонью.

И ничего не сказал.

Вячеслав взял хрустальную чашу с зелёным варевом, протянул ему.

— Ешь, Лёня.

Леонид взял. Ел медленно, по ложке. Вячеслав смотрел, как он ест, и думал, что ещё вчера не надеялся увидеть его живым. А сейчас он сидит рядом, с бородой, и жалуется, что Тома его убьёт.

* * *

Тэор пришёл, когда они доедали.

Сначала Вячеслав почувствовал. Не услышал, не увидел. Почувствовал. Как будто в комнате стало теснее. Как будто воздух сгустился. Песня Дома, мерная, тихая, на границе слуха, на мгновение изменилась. Сбилась. И потом зазвучала снова, но иначе. Глубже. Почтительнее.

Он обернулся.

В арке, ведущей в коридор, стоял старик.

Он был невысоким, для аталь. Чуть выше человека. Очень худым. Сгорбленным. Одетым в простое серое одеяние без всяких знаков, похожее на монашескую рясу. Волосы у него были белые, совершенно белые, длинные, до пояса, тонкие, как паутина. Кожа не перламутровая, как у остальных, а почти прозрачная, восковая, с тонкими голубоватыми прожилками сосудов. Лицо изрезано морщинами так густо, что казалось сделанным из смятого пергамента. Одна рука опиралась на посох. Тёмный, гладкий, из какого-то камня.

А глаза...

Глаза были светлыми. Не тёмными, как у всех в Доме. Светлыми, бледно-серыми, почти белыми. Как глаза слепого. Но он не был слепым. Он смотрел прямо на Вячеслава. И в глубине этих светлых глаз, когда на них падал свет, вспыхивал не перламутр, а что-то другое. Голубое. Как небо.

— Седьмой, — сказал старик.

Голос был тихим. Сухим. Шелестящим, как переворачиваемые страницы. Он говорил по-русски, но не так, как Орвен. Совсем по-другому. Каждое слово он произносил так, будто вынимал его откуда-то издалека, из глубины памяти, и рассматривал, прежде чем сказать.

— Я Тэор. Меня разбудили, когда ты запел у ворот. Я спал четыреста лет. Это был хороший сон. Ты его прервал. Я не сержусь.

Вячеслав встал.

— Четыреста лет?

— Четыреста двенадцать. — Старик медленно вошёл в комнату, опираясь на посох. Аркадий Ильич вскочил с бортика бассейна. Леонид смотрел на старика открыв рот. — Мы спим, когда устаём жить. В холодных залах, в глубине горы, где вода ледяная. Сердце бьётся раз в час. Дыхание раз в день. Время не идёт. Потом просыпаемся. Я спал много раз. Я старый. Очень старый. Я помню.

— Что вы помните?

Тэор остановился посреди комнаты. Посмотрел вверх, на золотые волны на потолке.

— Солнце, — сказал он.

* * *

Он повёл их показывать Дом.

Ларису разбудили. Она вышла, сонная, растрёпанная, увидела старика и замерла в арке. Тэор посмотрел на неё долгим взглядом. Подошёл. Медленно поднял высохшую руку и коснулся кулона у неё на шее. Как вчера девочка.

— Лирион, — сказал он. — Он всегда был добрым мальчиком. Хорошо. Носи.

Леонид остался в покоях. Он был ещё слишком слаб. Аркадий Ильич остался с ним: «Я лучше тут. Посижу. Порасскажу ему ещё что-нибудь. Про Курилы. Ему полезно». Вячеслав видел, что старик тоже устал. И что ему страшно. Он сорок лет мечтал попасть сюда. Теперь, когда попал, ему нужно было время. Привыкнуть.

Они шли по коридорам. Широким, высоким, сводчатым, из того же чёрного камня, со светом, который загорался впереди и гас позади. Стены были покрыты письменами. Где-то золотыми, где-то серебряными, где-то просто вырезанными в камне без всякой отделки. Иногда коридор расширялся, и они проходили через залы: маленькие, круглые, с бассейнами или с колоннами, или с какими-то сооружениями, назначения которых Вячеслав не понимал. Иногда навстречу им попадались аталь. Высокие, бледные, в переливающихся одеждах. Они останав-

ливались, прижимались к стенам, пропуская Тэора. Кланялись ему. Низко. Почтительно. На Вячеслава и Ларису смотрели с любопытством. Иногда со страхом. Иногда с чем-то ещё, чего Вячеслав не мог прочесть.

— Здесь живёт тридцать одна тысяча, — говорил Тэор, медленно идя впереди, постукивая посохом по полу. — Было больше. Когда пришли сюда, было сто двадцать тысяч. Это давно. Потом меньше. Дети рождаются редко. Мы живём долго, а рождаем мало. Так устроено. Иначе Дом бы не вместил. И ещё уходят. Наверх. Рассеянные. Как Орвен. Как Аэрн. Как Лирион. Их немного. Но они уходят и не возвращаются.

— Почему уходят?

Тэор остановился. Обернулся. Посмотрел на Вячеслава своими светлыми глазами.

— Потому что наверху солнце, — сказал он просто. — Здесь его нет. Мы его помним. Мы о нём поём. Но здесь его нет. Некоторые не могут жить без солнца. Они уходят.

* * *

Первым кольцом, внешним, были жилища. Вячеслав понял это не сразу. Длинный коридор, изгибающийся плавной дугой, а по обе стороны от него — арки, арки, арки. Сотни арок. За каждой — покои, такие же, как те, где они ночевали. Иногда в проёмах стояли аталь, смотрели на них. Иногда из-за арок доносились голоса, тихое пение, смех детей.

Вторым кольцом, средним, были сады.

Тэор вывел их в зал, и Лариса ахнула.

Зал был огромным. Длинным, изогнутым, уходящим за поворот, с высоким сводом, на котором горел тот же золотой свет. И весь он, от стены до стены, от пола до потолка, был заполнен светом другого рода. Живым. Зелёным, синим, голубым, бирюзовым, иногда красным, иногда фиолетовым. Мерцающим. Пульсирующим. Дышащим.

Водоросли. Огромные, длинные, колышущиеся, как от ветра, хотя ветра здесь не было. Они росли из воды. Зал был наполнен водой до половины высоты: длинные бассейны, разделённые узкими каменными дорожками. В воде росло всё. Высокие, как деревья, ленты водорослей, светящиеся изнутри зелёным. Пушистые кусты, похожие на кораллы, мерцающие голубым. Плоские круглые листья на поверхности, как кувшинки, с красными огоньками по краям. Ковры чего-то мягкого, бархатного, на дне, светящиеся ровным белым светом.

— Свет сверху мы не видим, — сказал Тэор. — Свет мы делаем сами. Из тепла горы. Из того, что приносит вода. Мы научили это расти. Двенадцать тысяч лет учили. Это наш хлеб. Наш воздух. Наша красота.

Лариса подошла к краю бассейна. Наклонилась. Смотрела на светящиеся водоросли, на мелких рыбок, снующих между ними, на прозрачных креветок с голубыми огоньками на спинках.

— Хемосинтез, — прошептала она. — Бактерии, которые питаются водородом и метаном из источников. Вы их... вы их культивируете. Вы сделали из них сельское хозяйство.

Тэор посмотрел на неё. Улыбнулся. Улыбка на его пергаментном лице была медленной, долгой, как рассвет.

— Ты понимаешь, — сказал он. — Хорошо. Мало кто из поверхностных понимает. Доставленные — некоторые. Твой Котов понимает. Он здесь всё время ходит. Записывает. Всё записывает. Смешной.

Вячеслав замер.

— Котов здесь?

— Здесь, — сказал Тэор. — Все здесь. В Нижнем квартале. Сто девять. Живые. Остальные восемь ушли. Умерли. Вы называете это — умерли. Мы называем — ушли в песню. Они похоронены в Доме. В стенах. Их голоса в песне.

Сто девять. Вячеслав помнил цифры из тёмно-синей папки. Сто семнадцать имён. Сто девять «доставлен». Восемь «утрачен».

— Я хочу их видеть.

— Увидишь, — сказал Тэор. — Не сегодня. Сегодня я покажу тебе Сердце. Ты должен сначала понять Дом. Потом людей в нём.

* * *

Третье кольцо, внутреннее, было тише. Здесь не было жилищ, не было садов. Здесь были залы. Большие, пустые, высокие, с колоннами. Некоторые были наполнены водой. Некоторые сухими. В одних стояли странные сооружения: каменные, металлические, хрустальные, с трубами, уходящими в пол и в потолок. Вячеслав чувствовал, как от них идёт тепло. И гудение. Низкое, ровное.

— Машины? — спросил он.

— Лёгкие, — сказал Тэор. — Мы так называем. Они делают воздух. Из воды. Тепло горы разделяет воду на то, чем дышат, и то, что горит. Одно идёт в Дом. Другое назад, в гору. Так двенадцать тысяч лет. Если они остановятся, Дом задохнётся за три дня. Башни, которые вы видели снаружи, — это их трубы. Через них Дом дышит. И поёт.

Они шли дальше. Коридор сужался, понижался, становился всё темнее. Свет загорался впереди всё неохотнее. Потом коридор кончился. Перед ними была арка. Низкая, узкая, с тем же солнцем над входом.

Тэор остановился.

— Сердце Дома, — сказал он. — Туда входят только поющие. Ты поющий, седьмой. Ты можешь войти. Она, — он кивнул на Ларису, — не поёт. Но она держит. Восьмая может войти с седьмым. Так было записано, хоть Монбар этого и не написал.

Лариса взяла Вячеслава за руку.

Они вошли.

* * *

Это был купол. Огромный, круглый, высоченный, уходящий вверх, вверх, вверх, в темноту. Вячеслав понял, где он: в самом центре горы, под тем округлым возвышением, которое он видел на батиметрии, на экране ноутбука Ларисы в кабинете на Мойке. Купол над центром трёх колец.

Внутри было темно. Почти совсем. Только в самом центре, на полу, горел маленький огонёк. Голубой. Неподвижный.

А стены купола пели.

Не так, как пел Дом снаружи, тихо, на границе слуха. Здесь песня была внутри. Везде. В стенах, в полу, в воздухе. Вячеслав почувствовал, как она входит в него через ступни, поднимается по ногам, наполняет грудь, голову. Он сжал руку Ларисы так сильно, что она охнула.

— Слава, — прошептала она. — Слава, держись.

Он держался. Он стоял на берегу и смотрел на воду. Он не входил.

Стены купола, когда глаза привыкли к темноте, оказались не гладкими. Они были покрыты чем-то, что сначала показалось ему письменами. Потом он понял: не письмена. Трубы. Тысячи и тысячи узких каменных труб, от самого пола до самого верха, разной длины, разной толщины, плотно прижатых друг к другу. Как в органе. Как в огромном органе размером с собор.

— Через них дышит гора, — сказал Тэор тихо. Его голос в этом месте звучал совсем иначе: глубже, полнее, как будто стены подхватывали его и несли. — Тепло снизу. Вода снизу. Они идут через трубы. И трубы поют. Двенадцать тысяч лет. Каждая труба — одна нота. Каждая нота — один голос. Голоса тех, кто ушёл в песню. Когда аталь уходит, мы ставим ещё одну трубу. И его голос звучит здесь. Навсегда.

Вячеслав смотрел на тысячи труб, уходящих вверх, в темноту. Тысячи голосов. Двенадцать тысяч лет.

— Сколько их?

— Много, — сказал Тэор. — Я не считал. Когда мы пришли сюда, было сорок. Сорок труб. Сорок голосов тех, кто погиб на острове и кого мы помнили по имени. Я был молод тогда. Очень молод. Мне было восемнадцать по-вашему. Я пел в первую ночь здесь, когда поставили первые сорок труб. Я пел свою мать. Она осталась на острове. Её труба — вон та.

Он поднял посох и указал куда-то вверх, в темноту. Вячеслав не видел, на какую. Их были тысячи.

— Вы были на острове, — сказал Вячеслав медленно. — Когда он погиб. Вы это видели.

Тэор опустил посох.

— Я видел, — сказал он. — Я последний. Все остальные, кто видел, ушли в песню. Я остался. Я спал, просыпался, спал. Четыреста лет, двести, триста. Чтобы не уйти. Чтобы помнить. Чтобы кто-то, кто видел солнце над островом своими глазами, был жив, когда придёт седьмой.

Голубой огонёк в центре купола чуть дрогнул.

— Ты пришёл, — сказал Тэор. — Я жив. Значит, я могу рассказать.

Он медленно, с трудом, опустился на каменный пол. Скрестил ноги. Положил посох на колени. Посмотрел на них снизу вверх светлыми, почти белыми глазами, в которых вспыхивала голубизна.

— Садитесь, — сказал он. — Это долго. Я расскажу вам про солнце.

Глава 3. Исповедь чужого разума

Нижний Аталь, Сердце Дома. 2 января 2027 года

— Остров был зелёным, — сказал Тэор.

Голос его в куполе звучал так, будто говорили сами стены. Тысячи каменных труб подхватывали каждое слово и несли вверх, в темноту, и возвращали обратно, тихим многоголосым эхом. Вячеслав сидел на холодном полу, скрестив ноги, рядом с Ларисой. Голубой огонёк в центре купола горел ровно, неподвижно, и в его свете лицо старика казалось высеченным из старого льда.

— Это первое, что я помню. Зелёный. Вы, наверху, привыкли к зелёному. Вы не замечаете его. А я двенадцать тысяч лет живу в темноте, и иногда, во сне, мне снится только цвет. Зелёный. Трава на холмах над городом. Листья деревьев у каналов. Вода в лагуне у берега, зелёная, прозрачная, тёплая.

Он помолчал.

— Наверху тогда был холод. Большой холод. Лёд лежал на севере, на ваших землях, толстый, как гора. Вода в море стояла низко, ниже, чем сейчас, намного ниже, потому что вся вода была во льду. Многое, что сейчас под морем, было сушей. Наш остров был больше. Намного больше. Длинный, как рука, от севера к югу. С горами посередине. Горы были живые. Огненные. Они дышали дымом. Иногда трясли землю. Мы привыкли. Мы думали, это гора поёт.

— Где? — спросил Вячеслав. — Где он был?

— Там, где теперь острова, которые вы зовёте Азорами. То, что осталось над водой. Верхушки наших гор. Всё остальное под ними. Глубоко.

Вячеслав вспомнил доклад доктора Хорна из немецкой папки. Ступени, вырубленные в скале под водой у Терсейры. «Дорога мёртвых». Огни на глубине.

— Нас было мало, — продолжал Тэор. — Двести тысяч. Может, чуть больше. На всём острове. Мы жили долго, рожали редко. Как сейчас. Мы были другие, не такие, как ваши предки. Мы разошлись с вами очень давно. Так давно, что даже я не помню. Нам рассказывали в песнях. Однажды, в начале, люди шли из тёплой земли, где вы все родились, на север и на запад. Одни ушли дальше по земле. Другие ушли к морю. Жили у моря. Ныряли за едой. Глубже, дольше, чаще. Поколение за поколением. Пока не стали нами. Мы научились видеть в темноте воды. Слышать то, что звучит под водой. Терпеть холод. Задерживать дыхание надолго. Жить долго. Мы стали народом моря.

— Морская ветвь, — прошептала Лариса. — Вера говорила. Отделились двести тысяч лет назад.

— Может быть, — сказал Тэор. — Я не считал. Мы не считали время так, как вы. Мы считали его песнями.

* * *

Он рассказывал долго. Вячеслав слушал и забывал, где он. Забывал холодный камень под собой, забывал тысячи труб, уходящих в темноту. Он видел то, о чём говорил старик. Не глазами. Тем местом внутри, где жила колыбельная деда.

Город на холме, окружённый кольцами каналов. Три кольца воды, два кольца земли, как писал Платон. Мосты над каналами. Белые стены из камня, добытого в горах. Медь, которую плавили в огненных горах и которой обшивали стены, чтобы они звенели, когда в них ударит ветер. Золото, которое находили в ручьях и вплавляли в камень, чтобы писать на стенах песни.

Корабли. Лёгкие, быстрые, из дерева и кожи, которые уходили на восток, к берегам, где жили другие люди. Ваши предки. Охотники в шкурах, с каменными копьями, жившие в пещерах и шалашах. Они не умели строить городов. Не умели плавить металл. Не умели писать.

Но они умели рисовать. На стенах своих пещер. Быков, лошадей, оленей. Красками из глины и угля.

— Мы приходили к ним, — сказал Тэор. — Не часто. Мы не хотели их пугать. Мы приходили торговать. Мы давали им соль, раковины, медь. Они давали нам шкуры, мёд, кремень. Иногда мы учили их. Не многому. Как разводить огонь, который не гаснет на ветру. Как считать по звёздам. Как петь, чтобы помнить.

— Вы им помогали.

— Мы смотрели на них, — сказал Тэор, — и видели себя. Какими мы были когда-то, в начале. Мы думали: однажды они станут, как мы. Может быть, лучше. Их было много. Больше, чем нас. Они рожали часто. Они были сильные, упрямые, любопытные. Мы любили их, как любят младших.

Он замолчал. Голубой огонёк в центре купола чуть дрогнул.

— А потом пришло тепло.

* * *

— Это было быстро, — сказал Тэор. Голос его стал тише. Трубы вокруг подхватили эту тишину, и она стала огромной. — Вы, наверху, сейчас знаете. Ваши учёные нашли. Лёд в старых слоях, в ваших скважинах, рассказал им. Тепло пришло внезапно. Не за тысячу лет, не за сто. За несколько лет. Как будто кто-то открыл дверь в тёплую комнату. Лёд на севере начал таять. Реки из талой воды текли в море. Огромные реки. Море поднималось. Каждый год выше. Мы видели, как уходят под воду наши берега. Наши поля у моря. Наши причалы.

Лариса тихо сказала:

— Конец позднего дриаса. Около одиннадцати тысяч шестисот лет назад. Потепление за несколько десятилетий. Импульс таяния ледников.

Тэор посмотрел на неё. Кивнул.

— Ты знаешь. Хорошо. Мы не знали тогда, почему. Мы думали, море гневается. Наши певцы пели морю. Просили. Море не слышало. А потом заговорили горы.

Он закрыл глаза.

— Земля под островом треснула. Там, где проходит шов, длинный шов по дну океана, от севера к югу. Он и раньше дрожал. А теперь, когда море поднялось и легло на него новой тяжестью, он треснул. Горы на острове проснулись все сразу. Огонь из вершин. Пепел в небе, такой густой, что днём стало темно, как ночью. Камни падали с неба. Земля тряслась три дня. А на четвёртый...

Голос его оборвался.

Вячеслав ждал. Лариса держала его за руку. Её пальцы были холодными.

— На четвёртый день море ушло, — сказал Тэор очень тихо.

* * *

— Я стоял на холме над городом, — сказал он. — С матерью. Ей было триста лет. Она была певицей прилива. Это значит, что она пела морю каждое утро и каждый вечер, когда оно приходило и уходило. Всю жизнь. Она знала море лучше, чем свои руки.

Он замолчал на мгновение.

— Утром четвёртого дня море ушло. Не так, как уходит в отлив, медленно, по ладони в час. Сразу. Вдруг. Как будто кто-то выдернул его из-под берега. Мы увидели дно. Лагуну, которая всегда была зелёной, прозрачной, полной рыб, — без воды. Камни. Ил. Водоросли, лежащие на камнях. Рыбы, бьющиеся в лужах. Наши затонувшие лодки, которые лежали на дне много лет. Кости. Всё, что было скрыто, стало видно.

Он открыл глаза. Светлые, почти белые. В них стояли слёзы.

— Люди побежали вниз. С холмов. К берегу. Смотреть. Многие. Сотни. Тысячи. Они никогда не видели дна. Им было интересно. Они ходили по мокрому илу, подбирали раковины, кричали друг другу, смеялись. Дети бегали между камней, ловили рыб в лужах.

— А ваша мать?

— Моя мать знала море, — сказал Тэор. — Она стояла на холме и смотрела на горизонт. Там, вдали, где море ушло, поднималась стена. Серая. Длинная. От края до края. Она сказала мне: «Беги. Наверх. К кораблям, в верхнюю гавань. Не оглядывайся». Я спросил: «А ты?» Она сказала: «Я буду петь. Кто-то должен петь им, чтобы они знали, что пора бежать». И пошла. Вниз. К берегу. Навстречу тем, кто смеялся на дне.

Тишина в куполе была такой полной, что Вячеслав слышал, как бьётся его сердце.

— Я побежал, — сказал Тэор. — Я не оглядывался. Я слышал за спиной, как она поёт. Громко. Так громко, как никогда. Песню прилива. Песню, которую пели, когда море приходит. Люди на дне услышали. Побежали назад, к холмам. Многие. Не все. А потом я перестал её слышать. Потому что пришла вода.

Он снова закрыл глаза.

— Я добежал до верхней гавани. Там были корабли. Сорок. Те, кто успел, грузились на них. Мы ушли в море. Не от волны — сквозь неё. Наши корабли умели. Мы встали к волне носом и прошли её. Потом ещё одну. И ещё. Три дня. Когда я оглянулся в первый раз, острова не было. Только дым над водой. Там, где были горы. И вода. Серая. Пустая.

— Сорок кораблей, — сказал Вячеслав. — Сорок труб.

— Сорок кораблей ушли, — кивнул Тэор. — Двести тысяч жили на острове. Из них спаслись девять тысяч. Остальные ушли в песню. Мы поставили сорок труб в первую ночь здесь, в Доме, когда пришли. По одной на каждый корабль. По одной на каждого певца, который пел на берегу, чтобы люди бежали. Моя мать — первая труба. Вон та.

Он снова поднял посох. На этот раз Вячеслав увидел. Маленькая труба, у самого основания купола, у пола, тонкая, тёмная, почти чёрная от времени. Первая.

Он прислушался. Из тысяч голосов, звучавших в куполе, он вдруг выделил один. Тонкий. Высокий. Чистый. Как звон колокольчика над водой.

Певица прилива. Двенадцать тысяч лет.

* * *

— Нас было девять тысяч, — продолжал Тэор после долгого молчания. — На сорока кораблях. Мы долго плыли. Потом разошлись. Одни сказали: море предало нас. Мы уйдём на землю. К людям. Будем жить с ними, среди них. Научим их тому, что знаем. Чтобы, когда море придёт за ними, они знали, что делать. Они ушли на восток. К берегам, которые вы зовёте Африкой и Европой. Это были Рассеянные. Орвен из них, из их потомков. Он родился позже. Много позже. Но он их.

— Египет, — сказала Лариса. — Саис. Жрецы, которые рассказали Солону.

— Саис, — кивнул Тэор. — Одни ушли туда. Жили у реки. Учили. Жрецы записывали. На камне, на свитках. Девять тысяч лет до вашего Солона. Он пришёл, спросил, жрецы рассказали. Он записал. Его потомок, Платон, написал книгу. Неточно. Многое перепутал. Но главное сохранил. Мы читали. Нам приносили. Мы смеялись и плакали.

Вячеслав думал о другом.

— Гёбекли-Тепе, — сказал он. — В Анатолии. Каменные столбы с резьбой. Звери, птицы, знаки. Самое древнее святилище на земле. Построено одиннадцать с половиной тысяч лет назад. Охотниками, которые не умели ни земледелия, ни гончарства. Учёные до сих пор не понимают, как они это сделали.

Тэор долго смотрел на него.

— Школа, — сказал он. — Рассеянные назвали это школой. Они собрали там людей, охотников, со всех земель вокруг. И учили. Строить из камня. Считать. Сеять зерно. Петь, чтобы помнить. Потом, когда научили, засыпали её землёй. Чтобы люди дальше сами. Без нас. Через несколько сотен лет люди посеяли первое зерно. Недалеко оттуда.

Вячеслав почувствовал, как по коже бегут мурашки. Всё сходилось. Всё, что он знал, всё, что читал, всё, что считал загадками истории. Как будто кто-то показал ему обратную сторону гобелена, и он увидел нити, которые держали узор.

— А другие? — спросила Лариса. — Те, кто не ушёл к людям?

— Другие сказали: море забрало у нас дом. Мы возьмём дом у моря. Уйдём туда, куда оно не достанет. В глубину. Где не бывает волн. Где тепло идёт снизу, из земли, а не сверху, от солнца, которое может согреть и может растопить. Где никакой лёд никогда не растает и никакая вода не поднимется, потому что мы уже будем на дне. — Тэор помолчал. — Я был с ними. Мне было восемнадцать. Я потерял мать. Я ненавидел море. Я ненавидел солнце, которое растопило лёд. Я хотел туда, где их нет. Я ушёл в глубину.

— Как? — спросила Лариса. — Как вы спустились? Без аппаратов, без...

— Это долгая дорога, — сказал Тэор. — Двести лет. Мы искали место. Сначала у себя, у острова, на склоне, но там земля тряслась всё время. Потом шли на юг. Потом на восток, вокруг большой земли. Потом через тёплое море. Много поколений. Много песен. Я расскажу в другой раз. Если будет другой раз. — Он посмотрел на Вячеслава. — Здесь, у великой щели, мы нашли гору. Зелёную, тёплую, живую. Гору из змеиного камня, которая дышит водой и водородом. Мы построили Дом. Три кольца, как наверху. Тридцать шесть башен. Сердце. Сорок труб. Мы начали петь.

— Зачем петь? — спросил Вячеслав. — Почему Дом поёт?

Тэор улыбнулся. Медленной, долгой улыбкой.

— Чтобы помнить, — сказал он. — Мы не пишем книг, как вы. Мы пишем на стенах, но стены молчат. А песня живёт. Каждый, кто поёт, несёт в себе всех, кто пел до него. Моя мать пела прилив. Я пою её. Мой внук будет петь меня. Пока Дом поёт, никто не уходит совсем.

Он помолчал.

— И ещё, — сказал он тише. — Мы пели вам. Вам, наверху. Двенадцать тысяч лет. Чтобы вы знали, что вы не одни. Что под вами есть кто-то, кто помнит, как море уходит. И как возвращается. Мы надеялись, что однажды кто-то из вас услышит. И ответит.

Он посмотрел на Вячеслава. Светлые глаза, почти белые, с голубыми искрами в глубине.

— Ты ответил, — сказал он. — Ты первый, кто ответил так, что ворота открылись, и не ушёл в песню. Потому что она держала тебя. — Он перевёл взгляд на Ларису. — Ты пела ему. Плохо пела. Я слышал. Весь Дом слышал. Никто в Доме никогда не слышал, чтобы так плохо пели. Мы смеялись. Двенадцать тысяч лет никто в Доме не смеялся над песней. А вчера смеялись все.

Лариса покраснела. А потом вдруг засмеялась сама. Сквозь слёзы. Тихо. И трубы купола подхватили её смех, понесли вверх, в темноту, и вернули обратно, многоголосым, тысячеголосым эхом.

* * *

Тэор поднялся не сразу. Сначала опёрся на посох. Потом на руку Вячеслава. Он был лёгким, как сухой лист.

— Я устал, — сказал он. — Я долго не говорил. Четыреста лет. Голос отвык.

— Тэор, — сказал Вячеслав. — Одна вещь. Последняя.

Старик посмотрел на него.

— Кэдмар. Совет. Они готовят что-то. Халлен говорил людям из линий. Слово. «Отлив». Что это?

Тэор долго молчал. Голубой огонёк в центре купола дрогнул, затрепетал и снова замер.

— Ты слышал, что я рассказал, — сказал он наконец. — Про море, которое ушло. Про дно, которое стало видно. Про людей, которые побежали смотреть.

— Слышал.

— Кэдмар родился через восемь тысяч лет после того дня. Он не видел. Он только пел. Он поёт мою мать каждый день, как все. Но он услышал в этой песне не то, что слышу я. — Тэор опёрся на посох. — Я слышу в ней: она пошла вниз, чтобы спасти. Он слышит: море ушло, и все увидели дно. И те, кто был внизу, на дне, погибли. А те, кто был наверху, спаслись.

Он медленно пошёл к арке. Обернулся на пороге.

— Спроси у Кэдмара, — сказал он, — кого он считает теми, кто наверху. А кого — теми, кто на дне. Он тебе скажет. Он честный. Это самое страшное в нём.

И ушёл, постукивая посохом по чёрному камню.

Глава 4. Доставленные

Нижний Аталь, Нижний квартал. 3 января 2027 года

Нижний квартал находился в самом низу внешнего кольца, там, где оно ближе всего подходило к склону горы. Чтобы попасть туда, нужно было спуститься по длинной винтовой лестнице, вырезанной в камне, с широкими низкими ступенями, отполированными тысячами ног. Орвен шёл впереди. Вячеслав и Лариса за ним. Оранжевый мешок с письмами висел у Вячеслава на плече, и он чувствовал его вес с каждой ступенькой.

Аркадий Ильич остался с Леонидом. Леониду стало лучше. Он поел дважды, поспал, побрился бритвой, которую нашёл в аварийном комплекте аппарата, и теперь сидел с Аркадием Ильичом у бассейна и спорил о том, кто первым открыл Антарктиду. Спорил вяло, но спорил. Это был хороший знак.

— Здесь теплее, — сказал Орвен, не оборачиваясь. — Мы сделали теплее. Для них. Люди мёрзнут там, где нам хорошо. Здесь вода из горы идёт ближе. И воздух суше. И свет ярче. Мы старались.

— Сколько их? — спросил Вячеслав.

— Сто девять. Самому старому сто четыре года по вашему счёту. Самому молодому тридцать один. Он японец, пришёл семь лет назад.

— Сато? — спросила Лариса. — Хироси Сато? Который написал заметку о сигнале в две тысячи девятнадцатом?

Орвен обернулся. Посмотрел на неё.

— Ты знаешь его?

— Я читала его заметку. Мне сказали, он утонул. У Окинавы.

— Он не утонул, — сказал Орвен. — Он здесь.

* * *

Лестница кончилась перед аркой. За аркой был коридор, а за коридором — то, от чего Вячеслав остановился как вкопанный.

Это была улица.

Узкая, изогнутая, вымощенная тем же чёрным камнем, что и всё в Доме. С двух сторон — арки, двери, окна, вырезанные в стене. Но не такие, как наверху, в покоях аталь. Здесь на окнах висели занавески. Сшитые из чего-то серебристого, переливающегося, явно здешнего, но сшитые по-человечески, с оборками, с подхватами. У одной двери стоял горшок с каким-то растением, светящимся голубым. У другой — грубо сколоченная из чего-то лавка. Над третьей висела вывеска, вырезанная в камне по-английски: «School». Над четвёртой — по-русски, неровными буквами: «Библиотека».

Пахло едой. Человеческой едой. Чем-то жареным. Чем-то вроде хлеба, только кислее. Чем-то вроде чая.

Где-то играла музыка. Скрипка. Самодельная, звучащая странно, с металлическим призвуком, но скрипка. Мелодия была знакомой, ирландской или шотландской.

И были люди. Обычные люди, обычного роста, с обычными глазами. Они выходили из дверей, выглядывали из окон, останавливались на улице. Мужчины и женщины, старые и не очень, в одежде, сшитой из той же серебристой ткани, но скроенной так, как кроят наверху: рубашки, брюки, юбки, куртки. Кто-то в очках. Кто-то с бородой. Кто-то держал в руках книгу. Кто-то кружку.

Они смотрели на Вячеслава и Ларису. И молчали.

Потом из толпы, расталкивая людей, вырвался человек.

Невысокий, плотный, с седой бородой, взъерошенной, как у старого дворового пса. В очках с толстыми стёклами, одна дужка которых была примотана чем-то серебристым. В сереб-

ристой рубашке, расстёгнутой на груди, и в старых, явно наверху купленных, протёртых до дыр джинсах. Он бежал, тяжело, неуклюже, размахивая руками, и кричал по-русски:

— Ковальчук! Ковальчук! Лариса Андреевна! Господи! Это вы! Вы!

Он налетел на Ларису и обнял её так, что она охнула. Отпустил. Схватил за плечи. Смотрел на неё сквозь толстые стёкла очков, и по щекам его, прячась в седой бороде, текли слёзы.

— Евгений Павлович, — сказала Лариса растерянно.

— Котов! Я Котов! Вы меня помните? Мы переписывались! Про рыбу! Я вам про гуанчей писал, про стелу, вы мне записи прислали! Вы меня помните?

— Помню, — сказала Лариса. — Я вас помню.

— Вы здесь! — Котов повернулся к Вячеславу. Посмотрел. Нахмурился. Потом лицо его просветлело. — А вы... подождите... Корнилов? Вы Корнилов? Ученик Глеба? Карты, рукописи? Я читал вашу книгу про генуэзские портоланы! Хорошая книга! Скучная, но хорошая!

— Это он, — сказал Орвен. — Седьмой.

Котов замер. Посмотрел на Орвена. Потом снова на Вячеслава. Очень долго.

— Седьмой, — повторил он тихо. — Это вы пели у ворот. Позавчера. Мы все слышали. Весь квартал. Мы стояли на улице и слушали. А потом кто-то так ужасно пел, что мы...

— Это была я, — сказала Лариса.

Котов посмотрел на неё. А потом захохотал. Громко, раскатисто, на всю улицу, запрокинув голову, и люди вокруг тоже начали смеяться. Сначала тихо, неуверенно, потом громче. Смех покатился по улице, отразился от каменных стен, ушёл вверх.

Вячеслав стоял посреди смеющихся людей на дне Тихого океана и понимал, что это первый человеческий смех, который он слышит за три дня.

* * *

Он раздавал письма.

Котов взял письмо Галины, толстое, на четырёх листах, «Женечке. Если жив», и отошёл в сторону, к стене. Открыл. Читал. Вячеслав видел, как он стоит, прислонившись спиной к чёрному камню, и читает, и плечи его вздрагивают, и он снимает очки, вытирает глаза рукавом, надевает очки снова, читает дальше. Он читал полчаса. Потом сложил письмо, прижал к груди и долго стоял так, с закрытыми глазами.

Потом подошёл к Вячеславу.

— Она ждёт, — сказал он хрипло. — Она пишет, что ждёт. Что не поверила, когда сказали, что я утонул. Что та женщина со светлыми глазами приходила, предлагала деньги. Что она не отдала. Мою тетрадь. За Брокгаузом. — Он засмеялся, всхлипнув. — Она нашла её за Брокгаузом. Сорок лет я прятал за Брокгаузом, а она всё знала.

— Я её читал, — сказал Вячеслав. — Тетрадь. Она привела меня сюда. Без неё я бы не нашёл.

Котов смотрел на него.

— Вы её читали. Значит, вы знаете, что я не послушал. Тот человек в Лиссабоне. — Он перевёл взгляд на Орвена, стоявшего у стены. — Он сказал: «Не ходите вечером к воде». А я пошёл. Портолан с островами, которых нет. Мне было важнее. Дурак. Старый дурак.

Орвен ничего не сказал.

— Вы можете вернуться? — спросил Вячеслав.

Котов медленно покачал головой.

— Нас не отпускают. Никого. Доставленные не возвращаются. Так сказал Совет. Мы здесь живём, работаем, учим, учимся. С нами хорошо обращаются. Кормят. Лечат. Здесь медленно стареют, вы заметите. Холод, еда, песня, не знаю что. Но наверх нельзя. Ни письма, ни голоса, ничего. Пока Совет не решит.

— Что решит?

Котов снова посмотрел на Орвена. Потом наклонился к Вячеславу и сказал тихо, почти шёпотом:

— Зачем мы им нужны.

* * *

Александр Ильинский был высоким, худым, сутулым человеком с аккуратной седой бородкой и в очках, сделанных, видимо, здесь, в Доме: оправа из чего-то тёмного, похожего на камень, стёкла чуть голубоватые. Ему было шестьдесят семь лет. Он выглядел на сорок пять.

Вячеслав протянул ему фотографию. «Нина и Саша. Лето 1984».

Ильинский взял её. Долго смотрел. На девушку с косой, смеющуюся на фоне Невы. На худого парня в очках, обнимающего её за плечи.

— Ниночка, — сказал он. Голос у него был тихим, интеллигентным, ленинградским, таким, каким говорили на кафедрах сорок лет назад. — Она жива?

— Жива. Семьдесят один год. Сорок лет хранила архив, в котором было ваше дело. Она вас ждала.

— Сорок лет. — Ильинский провёл пальцем по фотографии. — А я ей даже не успел сказать. В восемьдесят пятом. Перед экспедицией. Хотел сказать, когда вернусь. Кольцо купил. В «Яхонте» на Невском. Оно в кармане было, когда я пошёл к озеру.

Он полез во внутренний карман серебристой куртки. Достал маленькую коробочку. Красную, бархатную, вытертую до дыр. Открыл. Внутри лежало тонкое золотое кольцо с крошечным камешком.

— Сорок один год, — сказал он. — Ношу с собой. Глупо, да?

— Нет, — сказал Вячеслав. Горло у него сжалось. — Не глупо.

Он протянул записку от Вяземского. «Саша, я выбрал. Прости. Г. А.».

Ильинский прочёл. Улыбнулся. Грустно, но тепло.

— Глеб Аристархович. Как он?

— Восемьдесят восемь. Перенёс инсульт. Живёт на даче в Комарове.

— Передайте ему... — Ильинский помолчал. — Передайте, что я не сержусь. Что он правильно выбрал. У него была семья. А я был один. Мне было проще.

* * *

Петра Сазонова Вячеслав нашёл в маленькой мастерской в конце улицы. Здесь пахло деревом. Настоящим деревом, хотя откуда здесь дерево, Вячеслав не понимал. На стене висели иконы. Маленькие, написанные на тонких каменных пластинах красками, которые светились в полумраке: золотом, голубым, красным. Николай Чудотворец. Богородица. Спас. Неумелые, наивные, но удивительно живые.

Сазонов сидел за столом и писал ещё одну. Крепкий, широкоплечий, с короткой седой стрижкой и морщинистым обветренным лицом моряка. Ему было шестьдесят три. Он выглядел на сорок.

Вячеслав протянул ему письмо Маргариты Павловны. И маленькую иконку Николая Чудотворца в жестяном окладе.

Сазонов взял иконку. Посмотрел. Его большие, загрубевшие руки задрожали.

— Это мамина, — сказал он. — Мамина иконка. Она на мне висела, когда я в первый рейс уходил. Я Рите оставил, когда уходил в восемьдесят девятом. Сказал: сохрани, вернусь, заберу.

Он не мог читать письмо. Держал его в руках, смотрел на конверт с её почерком, и слёзы капали на бумагу.

— Она замуж вышла? — спросил он наконец.

— Нет, — сказал Вячеслав. — Тридцать семь лет. Каждый четверг ходит в клуб ветеранов на Лиговском. Потому что там единственные люди, которые знают, что с вами было.

Сазонов закрыл лицо руками.

Вячеслав положил рядом с ним на стол ещё одну вещь. Толстую тетрадь в клеёнчатой обложке, потрёпанную, разбухшую от времени.

— От Бориса Ефимовича Левина. Акустика. Который нажимал кнопку в восемьдесят девятом. Он просил передать. Он каждую ночь слушал. Тридцать семь лет. В полночь и в полдень. Записывал. Чтобы вы знали, что он не забыл.

Сазонов отнял руки от лица. Взял тетрадь. Открыл наугад. Прочёл вслух, хрипло:

— «Четырнадцатое марта девяносто восьмого. Полночь. Слышал. Двенадцать. Как всегда. Петя, ты там?»

Он перевернул страницу.

— «Третье сентября две тысячи одиннадцатого. Полдень. Слышал. Двенадцать. Как всегда. Петя, Коля, Валентин Степанович. Простите меня».

Он перелистывал страницы, и на каждой было одно и то же. Дата. Время. «Слышал. Двенадцать. Как всегда». И имена. Тридцать семь лет. Тысячи страниц.

— Он здесь? — спросил Сазонов. — Борис?

— Наверху. На судне. Он ждёт.

Сазонов прижал тетрадь к груди.

— Скажите ему, — сказал он, — что мы тоже слышали. Каждую ночь. Как он там, наверху, сидит в наушниках. Мы его слышали. Дом нам говорил. «Наверху кто-то слушает. Наверху кто-то помнит». Мы знали, что это он.

* * *

Игорь Ковалёв был самым старым. Сто четыре года. Он сидел в кресле у окна своей комнаты, в серебристом халате, с пледом на коленях, маленький, сухой, почти прозрачный, похожий на старого Тэора. Глаза у него были ясными. Слишком ясными для ста четырёх лет.

Вячеслав протянул ему записку.

«Папа. Мне шестьдесят семь. У тебя двое внуков. Мама умерла в две тысячи десятом. Она тебя ждала. Я тоже. О.».

Старик прочёл. Медленно, водя по строчкам пальцем. Потом прочёл ещё раз. Потом ещё.

— Олежка, — сказал он. — Ему было два года. Он сидел у меня на коленях за день до того, как я уехал на Курилы. Он учился говорить. Говорил «папа» и «лодка». Больше ничего. «Папа» и «лодка».

Он поднял глаза на Вячеслава.

— Шестьдесят семь. Он старше, чем я был, когда пропал. Я ему в отцы не гожусь. Я ему в деды гожусь. Как он выглядит?

— Высокий. С бородой. Океанолог. Как вы.

Старик закрыл глаза. Губы его дрожали.

— Как я, — повторил он. — Океанолог. Господи. Как я.

* * *

Они сидели в библиотеке Нижнего квартала до вечера, если это был вечер. Вячеслав, Лариса, Котов, Ильинский, Сазонов, ещё человек двадцать. Американец Дэниел Харпер, акустик с Гуама, сорок шестого года рождения: в семьдесят четвёртом ему было двадцать восемь, теперь восемьдесят, а выглядел он на шестьдесят. Хироси Сато, худой молчаливый японец, тридцати одного года, который смотрел на Ларису с благоговением и всё время повторял по-английски: «Вы услышали. Вы тоже услышали». Хавьер Ферран, испанский генетик, весёлый, черноволосый, с огромными руками, который первым делом спросил про Веру Матвееву и, услышав, что лабораторию закрыли, выругался по-испански так, что все рассмеялись.

Библиотека была длинной комнатой, вдоль стен которой стояли полки, вырезанные в камне. На полках лежали книги. Не напечатанные. Написанные от руки, на тонких листах чего-то полупрозрачного, похожего на пергамент, сделанного, как объяснил Котов, из водорослей. Сотни книг. Тысячи. На всех языках.

— Мы пишем всё, что помним, — сказал Котов. — Всё, что знали наверху. Физику, химию, историю, медицину, математику. Всё. Чтобы не забыть. И чтобы учить.

— Кого учить?

Котов посмотрел на Ильинского. Ильинский посмотрел на Харпера. Харпер, самый старый из присутствующих, после Ковалёва, кашлянул.

— Их, — сказал он по-английски. — Детей Дома. Совет требует. Каждый из нас должен учить. Свою науку. Свою историю. Всё, что знает. Детей, взрослых, всех, кто приходит. Мы учим их пятьдесят лет. Вернее, я пятьдесят. Другие меньше. Они очень быстро учатся. Очень. Они уже знают про электричество, про спутники, про интернет, про атомную энергию. Всё, чему их научили мы.

Он помолчал.

— Мы долго думали, что это просто любопытство. Им скучно на дне, они хотят знать, что наверху. Потом я начал замечать. Какие вопросы задаёт Совет. Не дети, нет. Совет. Кэдмар. Они спрашивают не про науку. Про то, как это работает у вас. Как устроены ваши сети. Ваши банки. Где лежат ваши кабели. Как управляются ваши города. Что будет, если отключить одно, другое, третье.

В библиотеке стало тихо.

— Нас собирают, как семена, — сказал Харпер. — Семьсот лет. Лучших. Самых умных, самых любопытных, самых упрямых. Тех, кто подошёл близко. Нас не убивают. Нас берегут. Как берегут семена. До весны. — Он посмотрел на Вячеслава старыми усталыми глазами. — Мы не знаем, для какой весны. Но мы боимся, что скоро узнаем.

Глава 5. Пакт

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.